



За рабочее дело...

Елена

СЧАСТЛИЦЕВА

г. Пушкин, Ленинградская область

повесть

У Антонины Прохоровой умер муж – утонул по пьянке. Уходя на рыбалку, он наказал ей приготовить его любимые винегрет и котлеты, да чтоб не горячие были, а чуть теплые. И она приготовила и винегрет, и мягкие сочные котлеты, но ела их уже одна с десятилетним сыном, а потом еще, обливаясь слезами, давилась мелкой пережаренной рыбешкой, которую успел наловить покойный Коля.

На Колины поминки она приготовила целый таз винегрета и котлет нажарила, и блинов. Она поставила на стол много бутылок водки, нарезала для гостей палку вареной колбасы, разложила по мискам соленые огурцы. Ей хотелось хоть чем-то порадовать мужа напоследок, и готовила она полночи, ощущая, что хлопотами своими приближает к себе умершего Колю.

Зато наутро он поразил ее чинностью и торжественностью, будто и не утонул он в ватнике нараспашку, темно-синих сатиновых трусах и сапогах на босу ногу. Лежал Коля в гробу в черном шерстяном костюме, купленном когда-то к свадьбе, в белой рубашке, при галстучке...

Фотографию для его памятника Антонина тоже выбрала свадебную. Там он представительным был мужчиной, хотя и помоложе. Свадебную фотографию она разрезала пополам, свою карточку положила обратно в коробку, а Колину отдала фотографу, чтобы сделал он эмалированный Колин портрет в овале с указанием дат жизни и тире между ними.

Все три дня до похорон Антонина ощущала себя в центре мира. Из деревни приехала ее мать и Колина, приехали невестки-свойки-кумовья, все жалели ее, все гладили по головке

ее сына и называли сироткой, и Антонина также гладила притихшего Витеньку, целовала его и жалела себя.

Родственники привезли с собой яркие пластиковые венки и оставили их на весенних комьях грязи Колиной могилки. Они причитали, пели, голосили и говорили, что если что, они всегда ей помогут, помогут, если что, если что, то всегда помогут...

Потом водка была вся выпита, закуска съедена, и только Колина стопочка, накрытая кусочком хлеба, стояла у его карточки целехонька.

Так Антонина осталась с Витенькой одна, и остался еще гальванический цех с гудящими вытяжками и смрадными испарениями, но зато появились новые хлопоты по установке ограды, памятника с раковинной для цветочков. Антонине почему-то сейчас казалось, что ее Коля очень уж цветочки любил. Незаметно подошло лето, в город из деревни на грузовике приехал дядя Вася, попутно передал от матери мешок картошки, двухлитровую банку сметаны да творогу килограмма три. Антонина так сперва ела его со сметаной, а потом все сырники пекла. Дядя Вася забрал Витеньку к бабке на лето: Витенька рос худеньким мальчиком, плаксивым, за лето ему необходимо было поправиться. Сама же Антонина засобирилась к матери в отпуск, на покос.

Каждый год приезжала она к матери помогать, но в этот раз... Едва только слезла с автобуса и дошла до старой березы, растущей у дома, как бросила на траву оттягивающие руки сумки и принялась утирать бурно нахлынувшие слезы: совсем маленькой девочкой она просидела на этой березе часа три или четыре — целую вечность. Ее загнал туда пьяный отец. Когда он напивался, то лупил ее нещадно. Она была младшенькой у матери, поскребышем, и потому отец считал ее нагулянной. Ведь у него четыре сына, все носатые, дородные, а Антонина, во-первых, девкой была, да еще вдобавок серенькой, худенькой, как червячок.

Если отец бил ее, она, никому не жалуясь, убежала прятаться. И один раз высоко вскарабкалась на березу, чтоб он ее не достал. Отец что-то рычал внизу, шатаясь, кидал вверх камни, а они, пущенные вялой и пьяной рукой, до девочки не долетали, но она этого не понимала и дрожала на ветке, вцепившись коготками в кору, точно зве-

рек. Когда же отец, выкрикивая бессвязные угрозы, ушел, девочка с ужасом обнаружила, что руки у нее затекли, разжать их и спуститься вниз она никак не может. Так и сидела она на дереве, боясь посмотреть вниз, чтобы не упасть, боясь крикнуть, чтобы не привлечь к себе внимание куда-то исчезнувшего отца. Ее заметил кто-то из взрослых, принес лестницу, снял, трясущуюся от напряжения и усталости.

Протрезвев и устыдившись, отец купил ей, трепетавшей от благодарности, в их деревенском магазине засахаренный подтаявший петушок на палочке, завернутый в липкую прозрачную бумажку.

Отец пьяный был всегда дурной. Когда хватил его удар и половину тела парализовало, с водки он резко перешел на капли и, отлежавшись, ковылял теперь по деревне, осторожно держа перед собой отечную, опухшую руку, точно краб с клешней. И хотя умнее он не сделался вовсе, однако заслужил со стороны своей старухи волну жалости и трепетного внимания, потому что страдалец и почти покойник.

Утерев рукой слезы, Антонина вошла в дом. Мать только картошку сварила. Витенька с дедом сидели за крытым клеенкой столом, на который была вывернута дымящаяся, сваренная в мундире картошка. Ох, как же Антонине захотелось есть! А у нее как раз были привезены две палки вареной колбасы! И все они наелись рассыпчатой картошки с постным маслом, с крупитчатой солью, да еще у каждого было по ломтю колбасы! Витенька уж больно по колбаске соскучился. Но Антонина не только колбасу привезла, она привезла и дрожжей, чтоб мать пироги пекла с черникой, малиной, зеленым луком, морковкой. Антонина привезла и мяса, и чаю, и масла.

С отцом и матерью помянули Колю. Вон его фотография на стене под стеклом среди прочей родни, и Коля, в точности как живой, смотрит на Антонину. Мать, охая, вспомнила, что в гробу он лежал будто «уснувши», да как же теперь сын без отца-то будет расти, добавила, что около дома все скошено и убрано, а косят они теперь на берегу и в лесу «на горы». В помощь, как обычно, наняли пастуха Андриюху. Выгнав колхозных коров, он косил, зато вечером громко матерился, собирая по всему лесу своих «сучек». Мать же с отцом теперь могут только сено ворошить да в копны его сгребать.

Затем мать разложила дочери оттоманку, раскинула на ней лоскутные цветастые одеяла, застелила их чистым, высушенным на солнце душистым бельем и уложила спать: ей завтра с утра косить с Андрюхой.

Утром она разбудила ее, велев побыстрее выпить чаю с хлебом. Мутными ото сна глазами Антонина уставилась в окно: там за тюлевым облатчком занавесок на подоконнике стояли ржавые кастрюльки со столетниками и геранями, отделенные холодным запотелым стеклом от тумана, поглотившего деревню с домами, сиренью, рябинами, заборами, твякающими шавками во дворах, сараями со скотиной и курами.

«А! — мысленно отмахнулась Антонина. — Пусть Андрюха косою машет — ему за то деньги платят», — она раскинулась на рыхлой душевой оттоманке. В неге она размечталась. Ей представилось, что белое, полное тело — ее тело — налилось, что она отлежала во время крепкого сна бедро, кожа на округлом локте сделалась жарко-розовой, а огромные груди, увенчанные бледно-розовыми сосками, свежеиспеченными булками от жара вот-вот выкатятся из треугольного выреза полотняной ночной рубашки. Ей даже показалось, что если бы она встала с постели, то рубаха эта крепко обтянула бы колышущиеся крутые бедра и высокий живот, а на ногах у самых щиколоток мягкая кожа свернулась бы пленительными, как у младенца, перевязочками.

Антонина спустила ноги на пол и села. За треугольным вырезом рубахи у самого пояса безвольно повисли два скукоженных кукиша — это грудь. А мать ходила от печи к столу, к буфету так, что и скрипели половицы, и брякали алюминиевые ложечки в граненых стаканах, и, загородив своим большим телом полпечи, она доставала из ее пышущего нутра высокий мягкий ситный.

Крепкий чай обжигал небо до тонкой, свеживающейся лохмотьями на язык пленочки и теплом растекался по жилам, согревая изрядно продрогшую Антонину, выбегавшую на двор ненадолго в одной ночной рубашке, гуляющей, точно колокол, на ее тощем теле, и в нейлоновой куртке, наброшенной на прямые костлявые плечи.

Когда чай был выпит, мать велела взять косу, и Антонина оставила теплый дом, где на высо-

кой никелированной кровати, как на лежачем троне, похрапывал старый отец, где неподалеку от образов висел расписной ковер с лебедями, так распалывший в детстве ее неискушенное воображение, где у излучающей тепло печки, жмурясь, грелся пяток кошек, призывно тарахтя от удовольствия.

Туман осел, но был еще такой плотный, что скрывал дома по самые крыши, и казалось, что они неподвижно застыли на поверхности зыбкой молочной реки, и над одной из таких оцепеневших, задурманенных сном крыш струится серый пушистый дымок.

Вечерами, когда гасло солнце и полоса неба над лесом, медленно теряя цвет, превращалась в бледно-розовую, над лугами, у реки, зависали легкие струйки тумана, и зелень лугов под ними, точно русалочья трава, наливалась влагой и холодом, и незакрывающиеся на ночь цветы, как девы, стоя по колени в густой траве и тумане, не мигая смотрели в начинающее синеть небо, где распускались первые звезды. Туман густел, плотнел и, как облако, сошедшее с небес, окутывал берег. А из леса, из замшелого бурелома, хлюпающих трясин полз другой туман, болотный, и у реки он сливался с ее водами и, скользя по поверхности, тек вниз к бездонному озеру, тысячелетиями вбиравшему в себя все окрестные речки.

Где-то там на берегу должен быть Андрюха, но туман, образовав единую субстанцию с неясными сонно-размытыми красками, поглотил и его, и некошеную траву, и мелкий прибрежный ивняк с дрожащим комариным ореолом, реку с лежащими на ней глянцевыми упругими листьями кувшинок. Лишь свист косы указывал, что Андрюха должен быть где-то рядом. Заслышав шаги Антонины, его голос приказал ей идти «вон туда» и косить «вон в эвон сторону». И Антонина не только поняла, куда ей надо идти и в какую сторону косить, но и послушалась его, несмотря на то, что старше была лет на десять и гордо считала себя хозяйкой, вышедшей на работу с собственным работником.

Недавнее вдовство еще придавало Антонине важность, она чувствовала себя женщиной порядочной, стоически переносящей «такую судьбу»: «молодая и несчастная». А уж Колин образ обрастал в ее голове все новыми и новыми добродетелями. Однажды одной старухе в автобусе она

так и сказала, что муж ее погиб, спасая товарища, но вода в весенней реке была такая холодная, что он товарища-то спас, а сам задохся и потонул. Старуха охала, а Антонина, устыдившись, себе в оправдание подумала, что Петя, Колин друг, с которым тот был на своей злополучной рыбалке, не все ясно помнит и потому каждый раз историю Колиной гибели рассказывает по-новому. Одно беспокоило Антонину: кольцо-то она сразу надела на левую руку, но люди, глядя на ее сухонькую фигурку и бесцветное личико, считали ее брошенной или еще хуже — разведенкой, непорядочной, приходилось часто оправдываться, но не перед Андрюхой. Потому она спокойно принялась за работу.

Никто еще не мял эту траву, согбенную под тяжестью мохнатых метелочек, осыпающих листья не то пылью, не то росой. А когда вместе с росой высохли старые треники с вытянувшимися коленками, которые Антонина натянула под ситцевое платье, и черные резиновые сапожищи накалились, туман исчез, на небе выступило солнце, день становился все жарче, а краски — ярче, — тогда со свистом косы к ногам Антонины падали пестрые букеты полевых цветов.

Пришли отец с матерью ворошить сено, но Андрюха не глядел на них, Антонина же видела лишь его выцветшую рубашку, прилипшую к жилистому телу.

Та трава, что зимою в сумеречном хлеву должна была бездумно жевать матерна корова, росла на лугу террасами, спускающимися к реке с трех сторон, точно ладонями, замкнутая молодым листовым лесом. От зарослей прибрежной осоки вверх по склону к подножью леса поднимались цветы, и была здесь тысяча мелких ромашек и колокольчиков, спутавшихся с растрепанными ярко-желтыми соцветиями зверобоя, внутри каждого цветка ромашки было заключено маленькое душистое солнышко в венчике белых облачков — лепестков, от числа которых зависит, сбудется или нет наше счастье. И над всем этим роскошным буйством цветов и медовым душистым запахом гудели, порхали, жужжали мухи, шмели, пчелы, бабочки и еще все те насекомые, названия которых нам совершенно неизвестны, но, несмотря на это, они существуют и плодятся в невероятном количестве. И все они — жужжащие, сосущие, порхающие — тонули в

жарком оцепенении луга, где раскаленный воздух тек вверх ленивым, зыбко-дрожащим мерцанием.

Луг этот пересекала разбитая дорога. Внизу она выныривала из зарослей черемухи и поднималась к вершине холма, где по обе стороны от нее росли две старые березы. В детстве Антонина любила стоять здесь, представляя, как она разбежится — и с размаху бухнется, словно в перину, во взбитую воздушно-белую пену холодной благоухающей черемухи. И, растопырив самолетом руки, захлебываясь от радости, она бежала вниз все быстрее, быстрее, но ветви плавно приподнимались. Когда кожаные ботинки Антонины начинали чавкать в черной мокрой земле, где из луж пучками торчали мясистые упругие лютики и где молодыми мягкими елочками дымился нежный хвощ, концы которого в жару детишки засовывают в трусы, получая таким образом папуасские юбки, — именно здесь черемуха цветочной аркой свешивалась над девочкой, печально осыпая ее сверху мелкими холодными лепестками...

Но Антонину позвала мать. Нет, она не запрещала ей, задумавшейся о своем, не работать — она звала ее полдничать. Мать доставала из сумки холодную вареную картошку, охалку зеленого лука, нащипанного в огороде, колбасу, черный хлеб и спичечный коробок с крупной грязной солью. Андрюха побежал на родник за стоящими в холодной воде бидоном с квасом и банкой с простоквашей. Он быстро вернулся, неся в одной руке облупленный эмалированный бидончик и прижимая к плоскому животу другой — мокрую холодную банку.

Все вместе сидели на невысоком крутом берегу, разговаривали то ли о разном, то ли об одном и том же, ели картошку, макая ее по очереди в коробок с солью, громко чавкая, жевали ядерный лук и розово-бледную с родинками черного перца вареную колбасу, привезенную Антониной из города. Они пили замораживающий зубы квас, взрывающийся у них в животах, горле, в носу газовой-дрожжевыми фонтанчиками. Антонина наливала из банки в кружку простоквашу, — и та вываливалась слоистыми стустками. Затем женщина брала в руки кусок черного хлеба, посыпала его солью...

А за высокими шелестящими зарослями

осоки текла река, безмолвно плескаясь яркими солнечными бликами.

После полдника сытая Антонина в одном платье лежала в тени под бузиною. Рядом храпел отец, ему в унисон вторил Андрюха, мать монотонно гудела о том, где они скосили и где еще надо скосить. Антонина молча кивала, чувствуя, что с каждым понимающим кивком тяжелеет голова и веки слипаются, как у гоголевского Вия. И в тот момент, когда она бросила на мать последний одурманенный сном взгляд, мать громко заматерилась и стала пророчествовать дождь. Кряхтя, пришлось вставать и нехотя идти ворошить сено.

После обеда Антонина не любила работать. Потная, облепленная сенной трухой, со жгучим нимбом жужжащих и жалящих мух, она тупо и вяло ожидала того времени, когда они управятся с сеном. Но этот нестерпимый зной, эта духота, казалось, парализовали не только тело, мозг Антонины, но и само время. И все-таки Андрюха ушел запрягать лошадь — сено увозили к дому.

Как-то после работы усталая, грязная Антонина пошла к реке освежиться. Она сняла сапоги, зашла в воду по колено, осторожно ступая по округлым, покрытым скользкими волосьями зеленой тины камням. И только хотела обмыть шею и подмышки, как нога у нее подвернулась, Антонина плюхнулась в воду, переполошив всех окрестных мальков. Достав задом до дна, она на мгновение очутилась под водой — в платье, трусах, лифчике, косынке, обмотанной вокруг головы, чтобы не напекло. Испугавшись, вскочила, озираясь по сторонам и собираясь было бежать к берегу, но вода оказалась так чиста и так освежала ее исколотое сеном тело, что она зашла подалее в реку и, раскинув широко руки и ноги, поплыла на спине вниз по течению.

Неподалеку река впадала в озеро, то было забытой детской забавой — глядя надвигающиеся пуховые облака, плыть на спине по течению реки, покуда воды не вынесут тебя в озеро или в море, как тогда придумывалось.

Оглухнув в воде, Антонина перестала слышать все то, что делалось вне ее тела. Она улавливала лишь собственное дыхание, неестественно громкое, да глухие всплески воды, возникающие при малейшем движении. Вода заложила уши и, точно платок, окутала иночески крохотное личико.

Даже когда она била ногами и вверх летел фонтан брызг, они падали ей на лицо, до нее доносились лишь тускло бурлящие звуки, будто все это происходило на каком-то отдалении и не с ней. Не слышала она и стрекотания кузнечиков, и шума листвы, когда ветер с мужской нежностью и злостью пугал кроны берез, осыпающих треугольными чешуйками семян и реку, и Антонину. Она не слышала и как перекатываются песчинки и камушки на самом дне реки, далеко от ее невесомо скользящего тела, где среди покорной течения травы ходят большие холодные рыбины. Иногда они были совсем рядом с Антониной, но она никак их не чувствовала. Не видела она ни желтых кувшинок, ни их листьев, ни подводных корней, хребтинами, остовами водяных змеев переплетающихся в глубине. Лишь стрекозы, жирные, с равнодушно выпученными глазами, и совсем тонюсенькие, полосатые, порхали над ней, беззвучно шелестя слюдяными крылышками. Они были и зеленые, и синие, и переливающиеся, с изумрудно-блестящими телами. Две стрекозы, сцепившись в брачном полете, попытались усесться Антонине на лицо. Она прогнала их: ей почему-то стало очень неприятно.

Вода играла подолом ее платья, выцветшего до белизны ночной рубахи, а ноги, устав держать равновесие, все настойчивее опускались вниз, и, глядя на ласточек, порхающих в голубом небе, у самых ватно-рыхлых громад редких облаков, легко плывущих по небу, Антонина думала, что там должны непременно жить прекрасные ангелы, в которых верит ее мать.

Но вот мир как бы раздвинулся, стал вмещать в себя еще больше неба и облаков, это означало, что река вынесла сухонькое тельце Антонины в озеро, на глади которого далеко-далеко, будто монетки, были разбросаны мелкие плоские острова. Антонина почувствовала, как теплая речная вода медленно перемешивается с холодной, поднимающейся с самого дна озера. Она испугалась, перевернулась на живот и поплыла к берегу.

Она вышла на берег: вода стекала на песок потоками по ее телу. Сняла с головы косынку, потрясла короткими, завитыми до мелкого бесцветства бесцветными волосами. Нет, никто ее не видел здесь на крохотном пляжике, отгороженным от берега ивняком. У ног ее лежало гигантское озеро, пустынное, синее-синее от пе-

рекинутого через него неба с белыми островами облаков. Бесшумно скользили по воде незаметные водомерки да воткнутые в песок рогульки говорили, что когда-то здесь ловили рыбу. Антонина сняла трусики, платье, лифчик и, не стесняясь своей наготы, отжала их, натянула все мокрое, холодное и пошла босиком по узкой тропинке среди колючих стелющихся кустов малины к забытым сапогам. Но то были кусты не простой малины, а черной... Так в их краях величали заурядную ежевику.

Травка на тропинке приятно ласкала расплющенные стопы Антонины с заскорузлыми пятками, а когда тропинка терялась, женщина шла по мокрому пляжу, и тогда от ее беззвучных шагов, увязающих в песке, стремглав уплывали с мелководья маленькие рыбешки. Она, улыбаясь, шлепала по воде босой ногой, и рыбешки уплывали еще дальше. Она глядела на свою тень, лежащую в воде: там вокруг головы ее сиянием, лучами расходились в разные стороны водяные струи. И она уходила прочь, оставив у самой реки исчезающие отпечатки босых ног.

Когда Антонина дошла до своих сапог, косынка, волосы, платье ее успели уже высохнуть, и лишь влажное белье приятно охладило тело. Сапожищи ее никто не тронул, напрасно ее точило подозрение. Стояли они все так же неподалеку от места, где она свалилась в речку. Однако рядом бродил Андрюха. Сосредоточенно глядя себе под ноги, он вдруг неожиданно падал на колени и, замерев в стойке на четвереньках, в охотничьем азарте хлопал рукой по траве: ловил кузнечиков взрослый дядька.

— Привет, Тонь. Ты чего сапоги забыла?

Антонина засмушалась: ей почему-то не хотелось, чтобы кто-нибудь знал о ее заплыве.

— А я вот кузнечиков ловлю, хочу Витьку твоего на рыбалку взять. Я страсть люблю таких озорных пацанов, как твой Витька.

Но Витенька озорником никогда не был. Он рос тихим, послушным, и казалось, что в самое веселье грустил, боясь, что его кто-нибудь осудит.

— Ой, Тонь, — неожиданно выдохнул Андрюха, — у тебя глаза-то какие синие, как сережки!

— Да что ты, — Антонина махнула рукой, — я уже старая стала, а сережки эти в нашей галантерее покупала, медные они, не золотые, а синее-то стеклышко. Стоили они рубль восемьдесят. Золотые-то я не могла купить: муж мой попилал,

царствие ему небесное, — и, снабдив Андрюху исчерпывающей информацией о материале и происхождении сережек, так и не добившись от него опровержения собственной старости, взяв под мышку горяченные сапоги, она сама вдруг почувствовала себя моложе, будто кожа у нее гладкая, упругая, как у молодых девчонок, а не высушенная до луковой шелухи, и что фигура у нее не худая и «низкосратая», по выражению матери, а такая же, как у тех лопающихся от здоровья розовощеких девчонок.

Вечером она увидела сына и Андрюху, идущих к реке с удочками, никого вокруг не замечая, они горячо, на равных спорили о грузиле и наживке.

Так неторопливо, с приятным однообразием проходили те летние дни. И, пожалуй, нечаянный Антонинин прыжок в воду был самым ярким событием за весь ее отпуск. Но вот настал день, когда не стало вареной колбасы! Это означало, что отпуск Антонины подходит к концу и ей предстоит ехать одной в пустую, раскаленную от жары пыльную квартиру. Антонина чуть не расплакалась, впервые осознав свои одиночество и неприкаянность.

В последний день своего отпуска Антонина должна была работать с Андрюхой далеко от дома, в лесу. Отец с матерью жадничали: у них давно уже было достаточно сена, но соседи косили, поэтому косили и Андрюха с Антониной.

Утром небо затянулось низкими плотными облаками, из которых, казалось, вот-вот начнет сыпать бесконечно тоскливая водяная труха. Пока Антонина стояла во дворе, Андрюха сходил в сарай, вывел лошадь, сам принес ей ветхую упряжь, впряг ее, сел привычно, по-хозяйски в телегу, взял поводья. Антонина, как могла, пристроилась сбоку. Андрюха чмокнул, заскрипела телега, и лошадь шагом двинулась вдоль спящей деревни в лес.

А в лесу пели, чирикали, свирители еще не перепуганные птицы, и прочь от них, повторяя все изгибы дерева, скользила по ветвям мягкая длиннотелая куница.

— Видишь, Тоня, малины-то скоко нынче будет, — невпопад прервал молчание Андрюха, показывая на придорожные заросли малины, растворяющиеся серо-синими невзрачными цветочками-бубенчиками с крепкими ворсистыми ягодками в сизо-темном утре.

— Вон тама, у ручья, самая крупная и сладкая, — продолжал он.

— Вижу, да только не моя это ягода, — равнодушно отвечала ему Антонина, — я в городе в это время буду.

— А что, больше сюда не приедешь? — спрашивал он ее, не понимая, что такое возможно.

— В конце августа приеду сына забирать, тогда брусника пойдет.

— А уезжаешь завтра?

— Завтра, — покровительственно ответила она. Завтра она уже будет городская, ему не ровня. И Антонина подумала, что навряд ли ей удастся на работе выпросить у мастерицы денек-другой.

Она и сама знала, что здесь, у ручья, малина крупная и сладкая, особенно в засушливое лето, когда ручей исчезает и от него остается только рассыпчатое русло, пересекающее дорогу. А вытекает он вон из тех узких и крутых оврагов, глубокое дно которых с трухлявыми вывороченными деревьями, глядящими в небо своими корнями, — все это мягко и плавно скругляет густая изумрудная крапива, оцетинившись жалищими волосинками, впивающимися во влажную землю своими древесными корневищами. По дну оврага скрытой от света змейкой струится ручей, а с отвесных склонов свешивают замшелые лапы ели, с черемухи падают черные терпкие горошины ягод, склоняются осина, ольха и прочая нечисть, с бумажными серыми фонариками осинных гнезд на ветвях, с дуплами, полными диких пчел и меда. И, когда деревья не в силах противиться поодиночке, сползут, их впитают в себя поросший крапивой овраг. Говорят, летом здесь от зноя скрывается медведь.

Антонина туда за ягодой не ходила — боялась. Неподалеку была одна заброшенная дорога, ее кусок, обрывок, неожиданно маячил в глубине густого леса. Среди темных величественных елей здесь рос группками малинник, а его ветки, униженные тяжелыми ягодами, точно яблони, гнулись к земле. И, перезревшие бордовые, винные, они падали в зеленую траву, а у стволов старых деревьев, там, где теплее всего зимою, росли черничные кустики с запотевшими лиловыми ягодами и рыжие каучуковые опята обсыпали старые пни. И сюда Антонина больше не придет.

Ах, как любила она компоты из малины! Бывало, закручивала их по тридцать трехлитровых ба-

нок! В городе ее научили делать «живую» ягоду, толочь ее с сахаром, тогда у нее ни запах душистый не пропадает, ни яркий цвет. Вот такой вот малиной Витенька любил поливать манную кашу. Он брал в руки ложку и рисовал вареньем на каше смешную рожу.

Антонина встрепенулась: что это она приуныла, будто малина только здесь и растет. Она с девочками из цеха за ягодой съездит!

У ручья дорога плавно поднималась в гору. Антонина с Андрюхой слезли и пошли рядом со старой смиренной лошадейю. Антонине казалось, что сегодня непременно что-то должно произойти. И действительно, когда солнце ярким матовым диском светило сквозь облака и на телеге вырос зеленый стог травы, чтобы быть разброшенным и досушенным около дома, Андрюха положил руку на плечо Антонины и сказал:

— Я жениться хочу, Тонь, так хочу...

Антонина не могла повернуть головы в его сторону, не могла ступить ногой, шевельнуть рукой. Тело отказалось повиноваться ей, она окаменела. Так и застыла, опираясь на вилы, словно Нептун на трезубец, а он все держал руку на ее плече. Но ведь ей надо что-то делать, что-то сказать! Она вдруг почувствовала, что оцепенение спадает и ее обдает душной жаркой волной. У нее закружилась голова, покраснели лицо, шея, грудь — настолько, как могла краснеть ее пергаментно-сухая кожа. Она неожиданно так засмушалась, что кокетливо передернула плечиками и, сбросив его руку, визгливо выкрикнула:

— Да будет тебе руки-то распускать, лучше б домой траву вез досушивать!

— Подавитесь вы все своим сеном! — заорал на нее Андрюха. — Натё, жрите!

Антонина хотела сказать, что ей вообще наплевать на сено, что не понимает, как это у нее про сено-то вырвалось, что виновата и не хотела обидеть, но у нее ничего не получалось.

Андрюха резко повернулся, подбежал к лошади и теперь зло и угрюмо шагал рядом с ней, держа поводья. Антонина спохватилась, поспешила за ним и было совсем уже собралась с духом, но из-за поворота, пыхтя, показались мать и отец.

— А, вот вы где! — обрадовались они. — А мы तो ропились вам помочь. Нынче по радио говорили: циклон идет.

Когда все они подошли к дому, Антонина решила. Деревянным, не своим голосом она проговорила:

— Андрюша, мы сами сено раскидаем, а ты, по-ди, устал, иди домой, отдохни, — и еще, не до-кончив своей вымученной, выдавленной, заран-нее приготовленной фразы, она с холодеющим ужасом осознала, что гонит его и что все говорит не так, как задумала!

Андрюха будто не слышал ее, молча раскидал сено, распряг лошадь и ушел домой.

— У, окаянный, — заворчала мать, — не попро-шался и сарай не закрыл.

Вечером сидели на улице у забора и ждали циклона. По радио сказали, что быстро дви-жется с севера.

Пригоршню за пригоршней Антонина грызла жареные семечки, сплевывая шелуху под ноги, погруженные в мягкую придорожную пыль. Ше-веля в теплой глубине пальцами, она остеклене-лыми глазами смотрела на белых, перемазанных пометом кур, разгребующих землю чешуйчаты-ми ногами. Точно загадочный принц, среди это-го невзрачного куриного окружения высился пе-тух в одеянии из черного перламутра, с длинны-ми развевающимися перьями хвоста, достойны-ми шляпы самого Мефистофеля. Но кур вот-вот загонят в темный сарай на насест, и они в компа-нии с черным принцем будут там кивать, свесив клювы, покуда щели в курятнике не станут излу-чать ослепительно яркий свет...

Казалось, нет в этом мире временного отсчета, существуют только закат и восход, и каким неле-пым, невозможным представился Антонине ее завтрашний отъезд: автобус, электричка, авто-бус, опять автобус. Нет, — она сбросила с колен шелуху, — нельзя ей завтра никак уезжать, пусть прогул ставят, премии лишают, пусть мастерица орет до хрипоты, не век же ей одной куковать.

И вместе с Антонининой решимостью оборва-лось безветрие, и мощный порыв ветра вытянул с севера на юг разодранные кроны деревьев.

— О, циклон идет, — констатировал отец, — они давеча сказывали, что быстро идет, с севера.

— Да знаем, — отмахнулась мать. — С утра толь-ко и слышим.

И, кудахча, она бросилась к курам.

— Дык, ведь идет, не вру. Вот и дождик будет.

И, в подтверждение пророчества деда, по небу пробежала дрожь, и оно грохнуло гулким даль-

ним эхом. Двумя расходящимися лучами по не-бу полетели рыхлые облака: лиловые, розовые, белые, темно-синие, пышные, взбитые, словно для того, чтобы на них восседали олимпийские боги. Как животные, внезапно выпущенные из загона и бегущие в стаде, опережая и наскаки-вая друг на друга, они неслись прочь от беспор-ядочно летевших им вслед электрических вспышек зарниц. А потом поползли тучи — низ-кие, давящие, впитавшие в себя весь холод, ве-тер и грохот пенящихся стальных валов Ледови-того океана, где из пугающе бездонных глубин выныривают на поверхность исполинские кит-ты, немые, с гладкой блестящей шкурой, мно-готонной мощностью они, обрушиваясь на океанс-кие волны, скользя, уходят вниз.

— О, то циклон идет, — пояснил отец Анто-нине.

— Да где ж Витька-то? — всполошилась Анто-нина, высматривая сына по сторонам. — Витька, Витька! Где тебя носит, Витька?!

Но бушевала листва, ветер вздымал столбом пыль, и Антонина и себя-то с трудом различала, не то что кого-то.

В то лето сын мало занимал ее. Нет, она не перестала любить его, просто, сгрузив сына на пле-чи матери, Антонина чуть не захлебнулась от ощущения собственной свободы. И хотя внешне она вела себя совершенно обычно: косила, ела, мылась в бане, стирала, выбегала в лес на часок за черникой, хлопала вечером глазами у телеви-зора, — ложась спать и укутываясь в темноте оде-ялом, она верила, что жизнь ее вот-вот переме-нится, стоит только чуточку подождать.

Сын также не беспокоил мать вниманием. Просыпался он около полудня, когда никого из взрослых не было дома, ел оставленную для него в печке еще теплую кашу, запивал ее молоком прямо из банки и, захватив с собой кусок хлеба с черничным вареньем, шел на улицу. А вот вече-ром, когда утроба забивается ужином, когда не жалит солнце и все звуки в воздухе становятся яснее, громче, а собаки, усаживаясь поудобнее, начинают, задрав голову, брехать и выть на еще прозрачную льдинку луны, — тогда можно печь картошку и, выкопав ее палочками из раскален-ной золы, выкатить на траву, воткнуть в карто-фелину палочку, точно вилку, счищая обуглен-ную кожуру. Можно, бросив в костер еловые вет-ки, смотреть, как с дымом уплывают в темноту



живые огненные змейки, а потом купаться уже совсем ночью в непрозрачно-черной реке, гоня прочь жутковатые мысли о дне. И не то замерзнув, не то испугавшись, Витенька выскакивал на берег погреться, бежал по остывшему песку, а корявая лунная тень, уродливый отзвук его детской фигуры, ползла за ним вслед. Он усаживался на песок, обняв руками колени, и, не в силах победить дрожь, бежал опять в черные воды реки.

Витенька и сейчас при грозе решил искупаться, когда сплошная завеса дождя решетила скользкую поверхность реки и она вскипала холодными пузырями. В последний момент он испугался, что в реку с неба упадет молния, и прибежал домой.

Антонина, как только зарядил дождь, ушла на крыльцо и там, стоя под навесом, голосила на все лады, пока не увидела сына, съездившегося от мокрой, облепившей тело одежды, с волосами, сосульками спускающимися на его лицо. Антонина задала сыну хорошую трепку, наверстывая недостаток своего внимания за прошедшие две недели отпуска. Витенька расхныкался, стянул мокрую одежду, развесил ее в сенях и, оставляя влажные следы, абсолютно голый вошел в дом под недоуменный взгляд деда.

Стемнело быстро. Непроницаемо тяжелые тучи изливали из себя нескончаемые потоки воды, и казалось, что в июле наступила глухая осень. Антонина сама закрыла дверь на щелчку, и все они — отец, мать и сама Антонина с сыном — рано улеглись спать.

Заснуть Антонине совсем не удалось. Уныло барабанил дождь по шелестящим листьям сирени, храпели отец с матерью и беззвучно спал Витенька. Под тяжелым ватным одеялом Антонина представила, будто Андрюха снова положил ей руку на плечо, и у нее с шумом перехватило дыхание.

В молодости ее, бывало, шупали подвыпившие мужики, да и то нечасто — слишком костлява и неказиста. Но чтобы кто-нибудь клал руку на плечо, чтобы она сливалась с ее телом! Ах, как хотелось ей повернуть время вспять, чтобы стоять посреди поляны, чтобы чувствовать на себе его сильную руку. И она все думала о той минуте, даже о тех секундах... Этот беспрерывный, бесконечный круговорот одного-единственного короткого воспоминания довел ее до безумия, до

порывистого состояния, когда, казалось, еще миг — и она вскочит с постели, побежит к нему через ночь под дождем в одной рубашке, шлепая голыми ногами по холодной грязи, будет стучать кулаками в его дверь. Пусть! Ей нечего стыдиться! И ей никто другой больше не нужен, и никого она не хочет больше любить!

Ах, ну почему она сразу-то не догадалась, почему он ждал до последней минуты и зачем только... Ох! И Антонина залилась слезами.

Она же не знала, как это делается! В кино, например, всегда все ясно, а с Колей-покойником у них просто было. Она знала его, сколько себя помнила, — он был из их деревни. До него с ней никто не гулял, как ни причесывалась она, как ни застирывала свои платья до содранной кожи на руках. Мать говорила: «Надо самой парней привораживать». Но как? Антонина их боялась или стеснялась, лишь только замечала взгляд в свою сторону, опускала глаза, краснела до пота, стараясь куда-нибудь спрятаться. Вот Коля на нее тоже никогда не глядел, а кто ему в школе нравился — она забыла. А ей нравился один мальчик, дачник. У него были кудрявые волосы, и привозил его на машине, украшенной маленьким серебряным оленем, важный папа в больших очках. Антонина молча глядела на мальчика из-за забора, и ее фланелевое платьице, которое до нее носило полдеревни, блекло, подол отвисал, карманы оттопыривались, а высокий забор становился еще выше. Того мальчика привозили в начале лета и увозили перед самым сентябрем.

Как Антонина любила весну, когда невидимая кукушка звонко куковала в пустом лесу, а яркость языческой зелени травы соперничала с белизной березовых стволов, жгуче пекло солнце, но земля была еще влажна, берег реки топок, а вода высока!

После весны наступало лето, привозили того мальчика. С тех пор она с волнением ожидала весны и не любила осень. А этой весной утонул Коля.

С Колей у нее сложилось все само собой. После армии он уехал в город. Туда многие уехали. Однако Антонину мать не пустила, единственную дочку оставила при себе, и до двадцати пяти лет она жила с полупьяным отцом и строгой матерью. Но и в двадцать пять лет Антонина все так же краснела и сторонилась любого, у кого вызывала хоть чахлый ин-

терес. Потом мать сказала: «Хватит! Ежжай в город и выходи замуж хоть за черта! Ой, проси господи», — перекрестилась она.

Однако выпихнуть в город перезревшую Антонину скорее было равносильно нежеланию каждый день видеть как укор тоскливо поблекшую дочь. Хотя, возможно, у матери и теплилась кое-какая надежда.

Антонина послушно собрала одежку и поехала в город на тот завод, где работало у них полдеревни. Так в ее жизнь вошла гальваника, о существовании которой она никогда не подозревала. Коля тоже работал на том же заводе.

Вот как-то раз на ноябрьские девчонки в общепитии наварили картошки, холодца, достали деревенских соленых огурцов, капусты, потом пришли ребята, играли на гармошке, было весело, пели, плясали. И кто-то сказал: «Коля, а чего ты не женишься? Вон Тонька, знаешь ее давно».

Коля согласился и стал ходить к Антонине уже как жених. Попивал он только. Но Антонина решила, что после свадьбы и рождения ребеночка всё образуется.

На свадьбе Коля упился так, что уснул за столом и проспал затем в постели рядом с Антониной ангельски невинным сном до обеда. Когда он проснулся, то у него так болела голова, что надо было опохмелиться, закусить огурцом. Антонина вроде опять была ни при чем. Но ее это не слишком беспокоило — главное, что замужем.

Она сама от себя такого не ожидала. Теперь она носила толстенное обручальное кольцо и гордо вертела правой рукой. На работе она снимала колечко, заворачивала в тряпочку и прятала в лифчик.

Вот с ребеночком дело обстояло не так гладко, как хотелось. Два раза в месяц Коля получал деньги, были еще праздники: День Конституции, Новый год, 1 и 9 Мая, Рождество, Крещение, 23 февраля, 8 Марта, Пасха, Илья, Казанская, три Спаса подряд, были еще дни рождения, субботы, воскресенья. Когда Коля был трезв и не засыпал раньше Антонины, он так терзал ее, пытаясь осуществить вводный этап мероприятия, что Антонине весь следующий день хотелось ходить враскоряку. Наконец через три года после свадьбы ей удалось забеременеть, родился мальчик, но тут, видимо, Коля решил, что свои обязанности перед женой и семьей он с честью выполнил.

Андрюха... Андрюха... Антонина смутно помнила, как он появился у них в деревне. Она тогда приехала в деревню перед свадьбой, гордая, видела этого мальчика прыщавого. И где ей было тогда догадаться, что спустя много лет он позовет ее замуж, а она будет плакать, что не поняла его?..

За окном в непроглядной тьме трепетали листья, и бесшумно, точно слезы Антонины, лил дождь по черной драночной крыше. К утру заснула, а небеса выплакались, пропитав холодной влагой землю и воздух.

Антонина проснулась с удивительной легкостью: она пойдет к нему и всё скажет. Ей не жалось в постели, мать тоже встала.

— Куда ты за черникой в такую рань?

— Да не пойду я, вон ведро наварила.

— Ты что, ребенку на зиму ягод лишаешь? Думаешь, в городе ему купишь?

Антонина колебалась: во-первых, ее опять обуял ягодный азарт, во-вторых, упоминание о сиротке, которому зимой не хватит ягодок, заставило Антонину устыдиться, к тому же сейчас слишком рано, а ягоды она собирает быстро, так что за час она наберет бидончик и прибежит к Андрюхе.

Антонина торопливо шла в сторону леса, «малерованный битон» охлаждал ей пальцы и, раскачиваясь, скрипел, точно колокольчик у коровы. Она прошла мимо домика, обшитого вагонкой, Андрюха занимал его половину. Дверь была заперта изнутри, Антонина постоила немного, но из дома не доносилось ни звука — видно, он еще спал. Антонина миновала деревню, поляну и наконец вошла в лес. При каждом ее шаге мох под ногами уходил куда-то вниз и из-под земли выступала бурая торфяная вода. Антонина склонялась над низкими черничными кустиками, но ягод нигде не было видно: мохнатые разлапистые ели не пропускали свет. В панике, что не наберет быстро ягод и что Андрюха тем временем уйдет, Антонина металась от куста к кусту. Она не съела ни единой ягодки — бидон полным не был! Она не могла думать ни о чем, кроме как о ягодах и об Андрюхе.

И все-таки она набрала свой «битончик», как положено — «с верхом» и, удовлетворенная, зашагала домой. Покидая лес, на самой опушке Антонина увидела первую за это лето

пижму. Она не любила эти цветы, будто пожелтевшие гроздья рябины. Их появление означало приближение осени. На двери Андриюхиного дома висел замок.

Антонина огляделась в растерянности:

– Баба Настя, – крикнула она сидящей у своего дома полуживой от старости бабке, – а где Андриюха?

– А кто его знает? – прошамкала старуха.

– Баба Настя, ты скажи ему, что Тоня заходила, пусть подождет меня! Обязательно!

– Скажу, скажу.

– Не забудешь?

– Не забуду, не забуду, – кивала головой баба Настя, хотя о чем ей надо не забыть, помнила она лишь Антонина. А сморщенная головка бабы Насти помнила много, очень много: и сколько стоило на базаре ведро простокваши при нэпе, и как Красная армия через их деревню проходила, но не это хотела передать Антонина Андриюхе...

До отхода автобуса она еще несколько раз забегала к Андриюхе, но на дверях все так же висел замок и все так же кивала головой баба Настя. Бегала Антонина и в поле, где пас коров его напарник...

И вот, собрав все свои сумки, сетки, бидоны, она, сопровождаемая сыном, отцом и матерью, пошла к автобусу. Антонина оглянулась: сияло солнце, умытые дождем отяжелевшие ветви кустов и деревьев склонялись к самой земле, а среди воспрянувшей сочно-зеленой травы, точно осколки голубых небес, стояли гладкие глубокие лужи.

Город встретил ее духотой, пылью и грохотом. На работе ее появления ждали: пошли нормали, то есть болты, гайки. В отсутствие Антонины их скопилось такое множество, что, казалось, им не будет конца. Каждую шайбу или болт нужно было закрепить на проволоке и опустить в ванну, тогда на месте проволоки оставался непокрытый след. А можно было просто высыпать все это хозяйство на сетку и повесить на край ванны.

Поутру она надевала широченные удобные босоножки, застегивала блузку на пуговицы до самого подбородка, не задумываясь об одежде и доверяя отечественной легкой промышленности: на фабриках сидят люди грамотные, ведают, что творят. Кроме того, она знала, что на ее плоскую фигуру с короткими жилистыми ногами можно

надеть все что угодно с совершенно одинаковым результатом, и потому покупала ту одежду, которая ее устраивала по цене и размеру.

Вечером, освободившись от болтов, она совершенно не знала, чем ей заняться. Все вещи от моли она перетряхнула еще весной. Колину одежду какую-то выбросила, а получше оставила: сын подрастет, будет носить вещи отца-покойника. Потом – спасибо – дядя Вася привез на грузовике из деревни огурцов. Мать передавала, что их так много, что «каждый» день снимают по ведру и боле.

Воодушевленная Антонина принялась со скрипом засовывать в чистые банки огурцы, застелив сначала дно «лопухами» хрена, чесноком, душистой смородиной, сухими зонтиками укропа. Она заливала банки горячим рассолом, оставляла их под крышкой доходить и опять ломала палки пахучего укропа, а потом на ночь любовно укутывала банки одеялом. За три дня она закатала много-много припасов, ее манили и прозрачный рассол, и белый чеснок, – соленые огурцы священные, как и варенье на зиму.

Дважды она ездила с девчонками за малиной, а когда собралась в третий, они удивились: куда тебе столько? Антонина опешила. Она никак не могла отвыкнуть варить котел каши и здоровенную кастрюлю щей – как при муже.

В воскресенье или в субботу было совсем плохо. Ну, ходит она к соседке, не уехавшей на дачу, солнце и слабый ветерок доносит обрывки редких сонных разговоров, начавшихся за несколько кварталов до ее дома и бог знает где оборвавшихся. Оставалось одно: ждать времени сна, когда, повинувшись биологическому ритму, уходишь в небытие, а жизнь между тем идет своим чередом.

Она ворочалась в жаркой постели, потом поднималась, шла к окну, распахивала его, впуская прохладный ночной воздух, а за колышущейся занавеской раздавались тихий смех и шепот, и кто-то, стуча каблучками, шел по мостовой.

И все-таки лето закончилось. В очередной раз Антонина приехала к матери и солнечным теплым утром на мягком сухом мху набрала крепкой белобокой брусники...

Беспорядочно крутились и шелестели красно-зеленые листья осин, вяло и низко летали тяжелые шмели. На траве парусом колыхались пау-

тинки, куда попадали мелкие засохшие семена и лепестки цветов. Но теперь все это не имело никакого смысла.

Она умилилась, как вяз, медово-желтый до кончиков последнего листа, отражался в молочных сумерках притихшей реки. Еще вчера она этого не замечала.

Чуть позднее, когда Антонина собирала вещи сына, мать рассказывала ей важнейшие деревенские новости: грибы, дрова... Антонина поддакивала ей, не зная, как спросить про Андрюху, но та сама сообщила:

— Андрюха к Катьке Дюжовой переехал.

— Дык у него ж свой дом есть? — не поняла Антонина.

— Живет он с ей, осенью и свадьба будет.

— А-ах! У Катьки-то дочь на выданье!

— И у дочки жених есть. А Катька его давно еще зазывала. Она ему ботинки новые купила и брюки с рубашкой. Пирогам ему все стряпает, говорит: с морковкой больно любит.

«Вот как выходит, — подумала Антонина, — после меня сразу к другой полез!» И когда она огурцы закатывала и все о нем думала, он уже с другой жил. «И та хороша, зазывала, не стеснялась. Да она меня старше, а уж Андрюхи-то и тем более», — Антонина тихонько плакала полночи. Ну почему она так его испугалась?! Сколько раз изо дня в день она припоминала то ощущение, когда она замерла, не дыша, от того, что Андрюха положил руку на ее плечо. С ней никто так не говорил! И потом она считала, что нельзя так быстро все делать, когда муж помер.

Вчера, встретив Катьку, Антонина решила, что та из бани. Пышная, розовощекая Катька, блуждающе глядя на ссохшуюся Антонину, непрерывно бессмысленно улыбалась. Антонина еще удивилась, что та без шайки, без мочалки, ее баня-то не топит, вот она и ходит к соседям мыться. Ах, если бы Антонина тогда не испугалась, то была бы такая довольная и красивая, как эта Катька!

Вот отчего на следующее утро Антонина побежала за брусничкой, а потом до самого вечера сидела мышкой дома, боясь выйти на улицу и встретить его. И все же увидела. Андрюха шел вальяжной походкой по деревне, но случилось это, уже когда подошел автобус. Испугавшись, что ее заметят, Антонина отвернулась, засуетилась с вещами, зачем-то одернула сына, чтоб

быстрее залезал. Витенька послушно впрыгнул в автобус, все вещи были внесены, отец с матерью махали руками, что-то говорили, но он ее так и не заметил. Автобус с лязгом закрыл железные двери и покотил прочь.

А потом полетели годы, и если морщин у Антонины становилось больше, то зубов — меньше. Она часто ездила к матери, видела Катьку, Андрюху, и если поначалу ее не покидало чувство досады и неловкости, то впоследствии оно исчезло.

После женитьбы Андрюхи она ясно поняла, что свой бабий век она уже отжила, на нее никто уже не позарится, разве что спьяну, а сама она на мужиков бросаться не будет — женщина она порядочная. Ждать от жизни ей особо нечего, но у нее есть сын и будут внуки. Теперь ее не изнурили ожидания, как в пору бесконечного девичества. Что на ней надето, как она выглядит, ее по-прежнему не волновало, лишь бы не дуло и не жало нигде. И так, не знающая озлобленности, зависти, суетности, приметная лишь для хорошо знакомого глаза, она гармонически сливалась с унылым однообразием улиц, но зато она обрела покой, живя в полном согласии с собой и миром. Она знала, как проживет остаток жизни, лишь бы войны не было...

После работы, груженная сумками, она приезжала домой, где ее ждал Витенька, пришедший с продленки. Взвалив на плечи ранец с учебниками, содержание которых он запомнить был просто не в состоянии, держа в руке пыльный мешок со сменкой, он направлялся домой кратчайшим путем — через темные пустыри, загаженные газоны и детские площадки, где находили приют бездомные кошки.

Но, несмотря на то что большую часть времени Витенька был предоставлен самому себе, Антонина постоянно держала его под контролем. Так, стряпая что-нибудь по вечерам, она кричала ему из кухни: «Витьк, а Витьк! Уроки сделал? А ну дневник покажь!»

Содержимое дневника ее почти всегда расстраивало. Ну не могли ее сыну учителя ставить четверки с пятерками чисто физически! Дело в том, что внешность у Витеньки была Власа-лоботряса: гладкий затылок, челка, скрывающая небольшой покатым лоб, носик уточкой, тяжеленный подбородок и в довершение — поразительно

круглые оттопыренные уши. При этом дураком он не был, но казалось, что мозг его окутывает порою мутная сонная пелена. Все же он старался учиться: это вдолбила в него мать, уж очень ей хотелось, чтоб сын ученым был.

В представлении Антонины быть ученым означало быть военным, гладко выбритым, свеженаодеколоненным, в надраенных до блеска скрипучих сапогах, чтобы, с гордостью глядя на сына, она могла сказать некому воображаемому судье: «Вот! Без отца, а сына вырастила!»

И не раз в мечтах Антонина проходила по деревне с сыном, одетым то в парадную изумрудную форму, то в морскую. Витенька был и в белом капитанском кителе, и в полевой форме, но неизменными оставались медные пуговицы.

Шли годы, Антонина мысленно шагала по деревне то в болонье и в такой же болоньевой косыночке, то в туфельках на звонких каблукках, то в джерси, то в кримплене и на платформе, то даже в мини, при этом ноги ее значительно подрастали и выпрямлялись.

Но однажды нехитрое и размеренное течение жизни Антонины было нарушено. Антонину затошнило, поднялась температура, заболели низ живота и поясница. Антонина терпела, принимала аспирин, ходила на работу, надеясь, что все обойдется. Так она дотерпела до конца недели, но в пятницу вечером у нее начался жар и боли стали такими невыносимыми, что Витенька испугался и заплакал, а соседка по лестнице, баба Женя, вызвала «скорую». «Скорая» забрала причитающую Антонину, но баба Женя, которую Витенька за глаза называл «баба Жопа», успокаивала и говорила, что не оставит малого одного. Антонину повезли в больницу, увидев синюю мигающую лампу на машине, она захлебнулась от гордости: страдальца! Жаль, что соседи не видят, спят, поздно!

В больнице ее осмотрела серьезная врачиха, и, как поняла Антонина из ее немногословного объяснения, положили ее «по-женски» и сейчас будут оперировать.

Укладываться на каталку Антонина никак не хотела, уверяя, что дойдет сама, что ей уже лучше. Она настолько была смущена суетою вокруг себя, что, когда ее везли по коридору, приподнимала голову.

В операционной ее облачили в беспомощно-короткую, едва доходящую до голого пупа рубашку с зелеными крапинками и надписью «Минздрав».

Антонина не успела испугаться и, глядя в нависшую над ней многоглазую операционную лампу, беззвучно плакала, а сестра, сидящая у нее в изголовье, держала пинцетом марлевые тампончики, утирала ее слезоньки. Левая рука Антонины была отставлена в сторону, и, когда в нее что-то вонзилось, глаза бедной женщины закрылись, точно ставни опрокинутого окошка. В тот момент она подумала, что больше не проснется, и это было не страшно.

Но она проснулась: кто-то настойчиво будил ее, а она хотела лишь одного — чтобы ее оставили в покое. Когда ее повезли из операционной, то истерзанная, изувеченная утроба глухой болью отзывалась на каждый бугорок пола и поворот коридора. Ее уложили на кровать, наконец оставили одну, и она погрузилась в нескончаемые красно-желто-коричневые тревожные видения, прерываемые приходами медсестры и врача. Просыпаясь, она тихо-тихо плакала не только из жалости к себе, просто ей очень хотелось плакать.

— Ну, ты посмотри на себя, — говорила ей медсестра, — нечесаная, страшная. Не распускайся, причешись хотя бы.

И Антонина плакала еще горше, но уже от того, что она такая страшная. Медсестра поворачивала Антонину на бок, она пыталась ей помочь, но тело не слушалось — ему мешала боль. Так и лежала она в послеоперационной палате, одна на высокой жесткой кровати.

Баба Женя не ходила в больницу и справлялась о ней по телефону: старая была, с больными ногами. Когда узнали девчонки из цеха, то принесли передачу. Там были крупные яблоки, лимоны, сок гранатовый, несколько пачек печенья и письмо. Девчонки писали, чтоб выздоравливала и за сына не беспокоилась — они помогут бабе Жене. Антонина опять расплакалась, на этот раз — от радости. Только она никогда не ела такую прорву фруктов, хотела приберечь для Витеньки, но доктор Александр Иванович сказал, что сам проверит, всё ли она съела.

Доктора Антонина послушалась, когда она попала в больницу, ему ведь позвонили домой ночью, разбудили, потом он ее оперировал.

Александр Иванович ей сказал, что у нее теперь новый день рождения — день операции.

Антонине нравилось, что он шутит с ней, подбадривает, она чувствовала его особое расположение, ждала обхода. Даже когда стала поправляться, Александр Иванович не забывал и всегда говорил по-отечески ласково.

Перед выпиской он пригласил ее в кабинет, сказал, что у нее вырезали и что детей у нее больше не будет.

— Только мужу не следует все говорить, — добавил он.

— Да вдова я, — засмушалась Антонина.

— Ничего, ведь не старая же, — Александр Иванович посмотрел в карточку, — чуть больше сорока.

Антонину выписали, но она знала, что в воскресенье он дежурит. Хватаясь одной рукой за перерезанный живот, она напекла пирогов с капустой и пришла навестить своих бывших соседок по палате. На ее кровати лежала другая женщина, тоже, говорят, тяжелая, тоже Александр Иванович оперировал. Но его Антонина так и не встретила — занят сильно.

Даже спустя год, хотя Антонина опять покорно принимала свое одиночество, Александра Ивановича, как и время, проведенное в больнице, она с благодарностью вспоминала каждый день.

А года через три Люба из первой парадной спросила:

— Тонь, а чего ты комнату не сдаешь? Вон какая большая квартира.

— Так ведь парень у меня большой, спать в одной комнате неудобно.

— Ты раскладушку поставь на кухне и спи там, а поменьше комнату сдавай. У племянницы мужниной сестры есть сосед, человек приличный, военный. Что-то он с женой не сошелся, ему комната нужна в нашем районе, на работу ему удобно ездить.

Так в жизни Антонины появился Василий Митрофаныч, полковник, доктор философских наук. Антонине он сразу понравился — серьезный, в очках, дородный, с кудрявым черным чубом. Он ходил с пухлым важным портфелем, и на его зеленом кителе было несколько планок от медалей.

Он сам назначил цену за комнату, сказал, что будет платить за уборку и за стол, к ноябрьским

принес банку шпрот, лосося, колбасы копченой, не обидел и к Новому году.

Дней через пять после его появления Антонина зашла к нему узнать, будет ли он пить чай. Он подошел к ней близко-близко и, взяв за плечи, сказал, что в жизни каждого мужчины бывают моменты, когда ему хоть козу подавай. Нет, к ней это не имеет никакого отношения, на ней он женится, только не сейчас, потом: жена — сердечница. Жену надо постепенно подготовить. Антонина перепугалась, что вернется Витенька.

— Не вернется, — уверил Митрофаныч, стягивая с нее свободного покроя панталоны и расстегивая пуговицы на своих армейских брюках, — мы быстро управимся.

Он действительно очень быстро управился и к приходу Витеньки успел выпить две чашки чая с брусничным вареньем. Так после многолетнего перерыва у Антонины появился мужчина.

Василий Митрофаныч был очень большим и тяжелым мужчиной, Антонина не могла под ним ни вздохнуть, ни пошевелиться, но при этом он заставлял ее такие колени выделывать! То на четвереньки встать, то ноги куда-то так задерет, что их судорогой сведет. Антонина недоумевала: чего ему неймется, зачем то так, то эдак крутиться, будто по-простому никак нельзя? А один раз он такой срам захотел учинить, этого уже она никак не могла снести! Один разок, правда, она куда-то полетела или поплыла, став безвольной, бессильной, ей захотелось продлить этот момент, но Митрофаныч захрапел и в изнеможении откинулся на спину. Антонину вдруг так затрясло, что со штанами, съехавшим лифчиком, бесконечными пуговками ей пришлось управляться пляшущими руками. И хотя их свидания, подчиненные Витенькиным отлучкам, происходили довольно часто, больше такого сладкого парализующего чувства Антонина не испытывала.

Витенька так ничего и не заподозрил: мать к жильцу относилась всегда почтительно, называла по имени-отчеству, да и сам жилец никакой вольности к Антонине не выказывал. Но, несмотря на видимую сухость их отношений, мысль о возможном замужестве крепко запала Антонине в голову. Неужели она, простая такая женщина... и нате вам — полковничиха! И от того она на многое закрывала глаза.

Митрофаныч же говорил, что торопиться не

будет, не мальчишка. Антонина и сама не дергала его: человек он уже в годах. Две дочери у него есть, внук, квартира, дача, машина. Добро-то нажитое делить надо. Квартира ей не нужна, да и дача тоже — вон у матери целый дом в деревне, а вот если в этот дом приехать на машине...

И уже в деревню в мечтах они приезжали втроем на машине, сын и Митрофаныч — оба в форме, при медалях и она в вельветовом костюме. И опять душа Антонины лишалась унылого равновесия, и опять она ощущала девическую шаткость и зависимость от хозяина, от мужчины.

Порою ей казалось, что времени для него не существует и он на ней никогда не женится: в их отношениях ничего не менялось и были они такими, как он сам установил. Но зачем-то он заговаривал о свадьбе, она его за язык не тянула...

Она любила смотреть, как он ест, как сидит похозяйски за столом, режет хлеб большими ломтями, по-мужицки сыплет соль на стол, макает в нее чеснок или лук и хрустит звонко. И что коньяк Митрофаныч пьет, а не портвейн, — ей тоже нравилось. Это было как прикосновение к богатой и беспечной жизни.

Теперь, когда Антонина приходила с работы, в доме всегда горел свет: там были сын и он, и даже если был кто-то один, она знала, что к вечеру придет другой.

Однако сыну о замужестве она ничего не сообщала, не зная, как он к тому отнесется.

Витенька же относительно морального облика матери был совершенно спокоен, но постояльца невлюбил. Учился он в школе последний год и, глядя на бескровную мать, твердо решил, что на завод никогда не пойдет. Решил поступать в институт, а в какой — разницы не было, лишь бы конкурс был небольшой.

Антонина же совершенно путалась в своих чувствах. С одной стороны, она всегда страстно мечтала, чтоб сын грамотный стал, с другой — зачем ей в цехе грамотность? Военным же сын наотрез отказался быть.

— Ты что, с ума сошла, — возмущался он, — сапоги носить! Обреют, сошлют в дыру.

— Это ты про какую дыру говоришь? — строго спрашивал Митрофаныч, вышедший на кухню в майке, галифе и шлепанцах на босу ногу. — Ты сам-то откуда будешь?

— Он здесь родился, в городе, — поспешила ответить за сына Антонина.

— Городской, значит, а сама ты откуда будешь?

— А я из деревни буду.

— А чего ты в город поперлась, ты что там, без своей гальваники жить не могла?

— Почему не могла? Могла, я дояркой работала, — серьезно разясняла Антонина. — А в город поехала, чтобы замуж выйти.

— И вышла?

— Вышла, за Колю, он тоже из нашей деревни.

— А там тебе за него никак нельзя было выйти?

— Нет, он потому и женился на мне, что мы из одной деревни.

Посмеиваясь и почесывая грудь под майкой, Митрофаныч прекращал допрос, замолкала и Антонина, удовлетворенная вескостью собственных доводов.

— А в военное училище, — значительно, после некоторой паузы, изрек Митрофаныч, — надо еще поступить.

Обезоруженный Витенька замолк. Ну, не мог он учиться, не мог! Часами просиживал за письменным столом... А тут еще девушки...

Девушки начинали уж очень беспокоить Витеньку. Тощему Витеньке нравились девушки пышные, чтобы бюст был высокий, бока крутые, губы пухлые, а глаза большие. По-видимому, благоговение матери перед тучными женщинами по наследству передалось сыну.

Витенька и нашел такую — глазастую, пышную, маленькую. Была на год младше, училась на повара, звали Лена. Витенька обнимал ее за талию, рука плавно оседала в теплые манящие недра. А если... Но от этой мысли голова у него шла кругом, и едва он начинал читать про трансформацию лозунга «Вся власть Советам», как мысли сами уплывали от лозунга большевиков к Лениной груди, необъятной, зыбкой, впитывающей взгляд, словно трясины. Опомнившись, Витенька откладывал в сторону историю и погружался в совершенно непонятную математику и физику, где формулы, точно бусинки, бесконечно нанизываются на нить.

Но даже когда Витенька не знал Лены, все равно не мог сосредоточиться. Он с невероятным усилием запихивал знания в свою голову, а они не помещались там, как в переполненном чемодане. Но чем забита его голова, он и сам толком не знал. А ему необходимо получить аттестат со средним баллом три с половиной, а выходило упорно три. Витенька

надеялся на гражданскую оборону, УПК и физкультуру.

— Не будет у тебя трех с половиной, — бросал Митрофаньч, глядя в телевизор.

— Почему? Вот если мне пятерку по физре поставят...

— Не поставят.

— Вам-то откуда знать?

— У меня педагогический стаж — двадцать пять лет, — и Митрофаньч пускался в нескончаемые рассуждения, как надо учиться, конспектировать лекции.

— Да нет у нас лекций, — огрызнулся Витенька.

— Так в институте будут, — зевнул Митрофаньч.

— Вы же говорили, я не поступлю, — раззадорился Витенька.

— Недобор будет — поступишь, — и Митрофаньч говорил и говорил...

А Витенька делал вид, что слушал, перебивать считал дурным тоном. И еще Витенька недоумевал: он что, на лекциях в училище не наговорился?.. Витенькина классная рассказывала, что дома она со своим мужем, учителем физики, всегда молчит. Они молча чай пьют, едят. Этот же болтает не переставая!

Митрофаньч действительно любил поговорить. Он регулярно сообщал Антонине про заседания кафедры, про рецензии на диссертации, аттестационные комиссии, она только с серьезным пониманием кивала в ответ и позвякивала посудой. Так ничего не подозревающая Антонина была посвящена во все тонкости закулисной игры кафедры философии общевоинского командного училища.

Скуки ради Митрофаньч любил цепляться и к Витеньке, полулениво загоняя его в такой лабиринт собственных рассуждений, откуда тот, как ни горячился, выбраться самостоятельно не мог. Витенька останавливался на полном ходу, заблудившись в словесах, и чуть не плакал от обиды, а Митрофаньч, выдерживая паузу, разворачивал газету или со словами «всё с тобой понятно» уходил к себе.

В последующие дни Витенька все размышлял над произошедшим «спором», разыгрывал про себя в лицах воображаемые вопросы и ответы — свои, конечно же, очень веские, дельные.

Митрофаньч рассказал Антонине про заседание профкома штатских, на котором он как

парторг обязан присутствовать. И тут Витенька, уставший терпеть, выпалил нехоти наболевшую мысль:

— Человек, чтобы называться личностью, должен заслужить доверие людей.

— Вот и заслужи, и тогда в тебе все будут видеть личность.

И опять Витенька был опрокинут, и опять не знал, как доказать, что он, подобно Митрофаньчу, личность. Тогда он выпалил вторую наболевшую мысль, никак не связанную с первой:

— Человек должен выбрать себе такое дело, чтобы на работу ходить как на праздник. А если он ошибется в своем выборе, то плохо будет не только ему, но даже, может быть, всей стране!

— Ну, это естественно, — отвечал Митрофаньч, даже не подняв на него глаз. Витенька ему был неинтересен, он наперед знал всю ту ахи-нею, какую ему предстоит выслушать. Вызывал же он Витеньку на кухонные диспуты, потому что фильм закончился, газета прочитана или с ужином Антонина замешкалась.

Витенька, напротив, считал их споры учеными. А говорили они и о смысле жизни, и о том, как воспитать в себе человека, и что в этом человеке все должно быть прекрасно, но при этом недостатки есть у каждого. Вот Ленин... У него, может быть, тоже были недостатки. Услыхав такую крамолу, Антонина от удивления медленно вытягивала шею и хлопала глазами, а Митрофаньч поддакивал. В общем, то были обычные темы семинарских занятий по марксистским наукам.

Антонина сперва недоумевала, слушая их, вскоре привыкла и даже стала переживать за сына, что не такой грамотный, не замечая при этом, что ему в собственном доме перед этим по-хозяйски уверенным Митрофаньчем приходилось постоянно оправдываться, что он не подлец и не дурак. Чувствовал Витенька себя совершенно одиноким: мать говорила, что жилец ученый и ему видней. Его доводила до бешенства правота Митрофаньча. Бедный Витенька порой впадал в отчаяние от невозможности доказать, что он хороший! И хотя о матери он вспоминал редко, ему казалось, что скоро и она будет стесняться его и презирать.

Что за поступок должен совершить Витенька, чтобы все поняли, какой он? Витенька знал, что непременно совершит его! Потом! Не сейчас!

Выдали аттестаты. Средний балл там был три.



Газеты печатали заметки о числе поданных заявлений, возможных конкурсах. Витенька занервничал, он готов был поступить куда угодно, лишь бы это ожидание и неизвестность поскорее закончились. Антонина, видя подавленное состояние сына, набралась храбрости и попросила Митрофаныча устроить Витеньку в свое училище. Митрофаныч помолчал и сурово отрезал:

— Жизнь, Тоня, надо начинать честно.

От стыда Антонина не могла вымолвить ни слова. Ее крохотное личико стало бордово-красным, будто она попыталась своровать, а ее схватили за руку. До самого вечера она молча переживала, что завела этот разговор. «Но ведь многие устраивают своих детей», — думала она себе в оправдание.

И все же Витенька поступил в институт, на его факультет поступали все, кто не получал на первом экзамене двойки, а Витенька сдал все на три. Митрофаныч похлопал его по плечу и сказал, что всегда в него верил.

— Вы же говорили, что я не поступлю? — спрашивал гордый Витенька.

— Это я так, любя. Ну, держись, — наставительно подбадривал полковник. — Ты у нас теперь почти рабочий класс. Металлист! Молодец! Теперь мы можем с тобой коньячку выпить.

Митрофаныч был доволен: отныне собутыльник всегда под рукой, студент не школьник.

— Нет-нет, — запротестовала Антонина. — Рано еще ему, ребенок почти.

Витенька все пропускал мимо ушей! Впереди у него было пять лет беззаботной жизни, правда, потом его ждал лязгающий металлом цех, но пять лет — это так много, и столько еще может перемениться!

Поначалу в институте Витеньке все страсть как нравилось, и Витенька резвился.

— Как дела, металлист? — бодро спрашивал Митрофаныч.

Витенька отвечал: «Нормально!» Однако Антонина, замечая его удрученность, понимала, что это не так.

— Какие у тебя отметки? Покажи дневник, — приставала она к сыну.

— Да нет в институте дневников, и отметки будут в конце года.

— Тогда что случилось-то? — недоумевала она.

— Да отстань!

Антонина терялась в догадках. Сын мрачнел

с каждым днем, а двоек нет, с Леной у него вроде все в порядке. Может, она беременна? Да как про то спросишь?

Витенька же был полностью подавлен: как ему вычертить эти страшные эпюры, как вывернуться, чтобы допустили до сессии. Сами экзамены его не пугали. Он посидит несколько ночей, будет пить кофе, курить и непременно всё выучит.

С невероятной, неизвестно откуда взявшейся энергией Витенька списал, перечертил, выклянчил. Короче, к сессии его допустили. К экзаменам он набрал целую кипу учебников, чужих конспектов, купил побольше курева и полкило молотого кофе, который Антонина отродясь не покупала: дорогущий да горький. Но когда разложил вокруг себя учебники, конспекты, спички, сигареты, когда сварил в кастрюльке кофе, то с ужасом обнаружил, что не понимает ничего! К утру голова его представляла из себя гудящий роящийся улей. Заснул Витенька тяжелым изнуряющим сном и проснулся в полной панике, час от часу это состояние усиливалось. Он много курил, пил кофе, но у него только разболелся желудок, а во рту стало так тошнотворно-кисло, что на все это, включая учебники, смотреть просто не было сил.

Короче, сессию Витенька завалил, но дома ни словом о том не обмолвился. Затем начались каникулы, не заполненные ничем, кроме Лены, двух-трех приятелей да музыкой, что лишь усиливало желание забыться. Но каникулы закончились, и если в первом семестре Витеньке выплачивали стипендию, то во втором — нет. И тут Антонина все поняла! Всё! Витеньке пришлось сознаться. Антонина ужасно расстроилась: ее сынуля, кровинушка — и хуже всех.

— Да как тебе не стыдно, бездельник, — приструнивал его Митрофаныч. — Мать тебя кормит, поит, обувает, одевает, растит. Долго ты еще над ней измываться будешь?

Витенька как-то сразу сник: дома Митрофаныч всегда ходил в форме, правда, в несколько вольной ее интерпретации, и от того его представления имели всегда почти официальный характер.

— Мать жалеть надо, она у тебя одна, — добавил он с укоризной.

Антонина от его последних слов едва не расчувствовалась:

— Что же это? Тут работаешь на вредном производстве, здоровье губишь, а ты бездельничаете? Мне что, пять лет тебя тянуть? Да даже твои сорок рублей и то не деньги!

— Верно, — согласился Митрофаньч, — надо учиться и работать.

Теперь у Митрофаньча появилась новая тема для наставлений: учеба на вечернем факультете, что Витеньке, разумеется, не по силам, или же уход из института, где он, Витенька, занимает чужое место. Рабочий человек — истинный хозяин жизни! Не будь инженером, но будь рабочим, специалистом своего дела, ма-а-а-стером!

Митрофаньчу, сама того не ведая, вторила Лена: что это за парень такой, ничего не зарабатывает. Вот она скоро закончит училище и получать будет больше, чем Витенька с его институтом. Лена видела в Витеньке будущего мужа. Выйдя на работу, она собиралась родить одного, а потом сразу же второго, чтобы стаж шел.

Забитый с трех сторон, Витенька не слушал бы их вовсе, если бы не любил мать, Лену и не отдавал должное светлому уму Митрофаньча.

От тоски он даже стал попивать, несколько раз в отсутствие матери с Митрофаньчем — его коньяк.

Митрофаньч же, заполучив «компаньона», теперь перестал задирать Витеньку, в свою очередь и Витенька наполовину простил, наполовину забыл былые столкновения.

— Что ты киснешь в своем институте, — говорил ему подвыпивший Митрофаньч. — Ощуди себя хозяином страны! Поезжай на Север, на БАМ — туда, где настоящие люди. Ты ведь чужое место занимаешь. Из-за таких, как ты, какой-нибудь хороший парень в институт не поступил.

— Что же я, подлец? — опять злился Витенька.

— Ну, так сразу и подлец, — добрейше улыбался потный Митрофаньч. — Ну, не потянул — имей совесть, уйди, дай дорогу другим.

— А что, я хуже других?

— Почему хуже? — по-отечески обнимал его потный хмельной Митрофаньч. — Просто человек должен отвечать за свои поступки.

Все же не любил Витенька выпивать с Митрофаньчем, хоть при этом и не тратился, да и Антонина живо пресекала их сходки. Витенька вы-

пивал теперь с кем-нибудь из своих однокурсников и что подешевле.

Как-то, стоя промозглым вечером в темной воюющей парадной, Витенька достал ликер «Южный», сорвав пробочку, лихо раскрутил ее в руке и опрокинул бутылку в рот. Сладкая, вязкая, обжигающая жидкость стремительным потоком хлынула в Витенькино нутро. Когда после вынужденной паузы ему удалось это проглотить, оказалось, что он заглотив половину бутылки и теперь была очередь приятеля.

Мгновенно захмелев, Витенька поведал ему, что уходит из института, что надоело зубрить всякое дерьмо и хочется свободы. К тому же из-за него, из-за Витеньки, какой-нибудь хороший парень не поступил.

— Я давно уже все сам решил, — продолжал он. — Да и с Митрофаньчем за бутылкой помозговали: на Север надо ехать, там деньги хорошие. Строителем буду или нефтяником.

— Брось слушать своего Митрофаньча. Сам говорил: дерьмо-мужик.

— Точно. Но умный черт. Знаешь, он, когда пьет, никогда не дуреет, все умнее становится, — Витенька украдкой глянул на бутылку, она была пуста. — Он такие вещи говорит — хоть записывай. Вот как-то сказал, что сознание — это свойство тела отражать окружающий мир. Ты берешь что-то твердое, бьешь по камню, а на нем — царапина. Это низкая форма сознания. А человек мыслит, нюхает — это высокая форма сознания.

— Да, завернул.

— А знаешь, что он сказал про брак по расчету? Он сказал, что это — проституция, только еще хуже. Тут человек продается на всю жизнь.

— Верно подметил. А чего ты про проститутток вспомнил?

— Да жениться я надумал, — важничал Витенька.

— На ком? На Ленке, что ли?

— А на ком же еще? Мы же с ней того... Слышь, что мне Ленка сказала: если я ее брошу, она повесится или под поезд бросится, но жить больше не будет.

Витенька так и не дотянул до весны. Он явился в деканат и с вызовом сообщил, что уходит и не будет чужое место занимать.

— Дурак, — устало вырвалось у декана, — ничье место ты не занимаешь.

Витенька слегка дрогнул, но в качестве веского довода сказал, что давно решил, и на все отвечал гордым отказом, спустил в мусоропровод лекции, но вместо ощущения свободы его почему-то не покидал какой-то неприятный осадок. На Север он не поехал и нефтяником не стал. Его устроила на работу мать, и теперь он ездил на работу с мамой.

Потом пришла повестка из военкомата, где говорилось, что Витеньке надлежит обриться налысо и с первыми петухами явиться в военкомат, имея при себе предметы первой необходимости, которые лишь подчеркивали убогость Витенькиного существования.

...Уже разошлись все провожающие, а Антонина все стояла у дверей военкомата и плакала. Но когда их вывели, обритых мальчиков, Витенька обернулся, растерянным взглядом зацепился за мать. И тут Антонина увидела его тощую голую шейку.

— Витенька!!! — закричала она, со всех ног бросаясь к трамваю, в который садились новобранцы. В трамвае она молча утирала слезы и смотрела на сына, не решаясь подойти. Но настало время выходить, и ребят повели в трехэтажное здание, напоминающее школу. Несколько часов Антонина провела теперь уже под другими дверями в надежде хоть разок посмотреть еще на него, а когда брела к остановке, постоянно оглядывалась, ища глазами сына.

Дома Митрофаных еще не успел уйти на занятия.

— Василий Митрофаных! — грохнулась ему на грудь зареванная Антонина. — Ну сделайте хоть что-нибудь, чтобы его далеко не угоняли!

— Ну-ну, Тоня, перестань, — Митрофаных крутил в разные стороны головой, избегая соприкоснуться с ее мокрым распухшим лицом. — Нечего слезы распускать, все служат. Армия из него мужчину сделает. А помочь — прости — не могу. Таких полковников, как я, пруд пруди. Да если бы все могли, в армии такая бы чехарда началась. Не плачь! Понюхает порошу твой сын, возмужает. Никуда не денется!

Итак, комната сына опустела, спать на кухне больше не было нужды. Но уснуть в кровати Витеньки Антонина не могла, ночью ее полу-

сонное воображение рисовало картины одна драматичнее другой, она поскуливала, жалея себя и Витеньку. Наконец, совершенно истерзанная одиночеством, переселилась в комнату Митрофаныха и спала с ним как с мужем в одной постели, пока не произошло одно досадное недоразумение.

Антонине снилось, что она никак не может найти туалет. Понуро бродя по городу в поисках унитаза, она еле-еле нашла его в гастрономе. Он возвышался посреди торгового зала, а вокруг постоянно сновали незнакомые люди, отчего, сидя на унитазе, Антонина никак не могла сосредоточиться: люди ужасно отвлекали ее. Но вот ее надутый живот стал постепенно спускать жидкость, и вместе с облегчением Антонина почувствовала, что под задом у нее горячо и мокро.

— Сука! — заорал подмокший Митрофаных. — Зараза, тебе что, до горшка не добежать?!!

Митрофаных судорожно искал в шкафу сухие трусы, стянул мокрые и с силой швырнул их в лицо Антонине. Неслышной тенью она проворно поменяла белье и матрац и убежала спать в комнату сына. Утром пристыженная Антонина боялась и слово сказать Митрофаныху, таким он был драматично надутым и оскорбленным. На работе не утерпела и, когда все передевались, чтобы расходиться домой, рассказала о случившемся, умолчав о главном, о Митрофаныхе. Анна Петровна, самая старшая из них, аж руками всплеснула:

— Ох, горюшко-то! Это самая страшная примета!

— Какая такая примета? — недоверчиво спросила Верка, молодая девка, всегда модно одетая и покрашенная. Даже когда ее муж после аванса поставил ей фингал под глазом, Верка пришла на работу с одним покрашенным глазом. Столкнувшись с нею в темном коридоре, Антонина дико заорала с испугу, но Верка ей все разъяснила. Для красоты, мол.

— Какая? — трагически произнесла Анна Петровна. — Война будет, бабоньки! Вот что!

— Ой, уморила! — загоготала Верка. — Чаю надо на ночь меньше пить!

— А вот ты попомни мои слова, — поучала Анна Петровна. — Моя мать описалась в 41-м году в ночь на 22 июня. Это самая страшная примета, когда взрослый описается!

У Антонины аж ком к горлу подступил: Витенька!

Вечером после чая она прервала тягостное молчание:

— Мы так решили в цехе, что скоро война будет.

— Да? — рявкнул Митрофаньч. — А что вы еще в своем цехе решили? — и неожиданно для себя добавил: — Положение страны сейчас как никогда упрочилось.

Они разбрелись спать по комнатам.

На следующий день по радио и по телевизору говорили об Афганистане, о сложном положении. Антонина все приставала к замолчавшему Митрофаньчу, что это за Афганистан такой? Казахстан — знала, Азербайджан — тоже знала. Однако Митрофаньч не снизошел до ответа.

Одно тогда Антонина усвоила твердо: что бы там позднее ни говорили про политиков, Брежнев ли виноват, Суслов, Подгорный или Устинов — ничего бы не произошло, не будь в ту ночь с ней такого конфуза. А с Митрофаньчем у нее таким путем отношения были навсегда разорваны.

Вскоре ей в дверь позвонила женщина лет пятидесяти, полная, в добротной каракулевой шубе. Пышно взбитые волосы женщины бережно окутывал ажурный пуховый платок. «Полковничиха», — мелькнуло в голове Антонины. Да-да, она хотела бы видеть Василия Митрофаньча. Кто такая? Супруга.

Женщина с достоинством вошла в квартиру, потеснив согнутую дугой безгрудую Антонину. Василия Митрофаньча нет дома? Ничего, она подождет. Женщина сняла шубу и наполнила квартиру Антонины стойким запахом сладких духов. Видно было, что, собираясь к мужу, она принарядилась. «Сразить собралась», — съехидничала про себя Антонина.

Полковничиха спустила с головы платок и, оставив его на округлых плечах, с удовлетворением огляделась в зеркале, прошла в кухню и села. Антонина проследовала за ней. Ее охватила такая злоба, что она даже чаю гостье не предложила! А та вроде и не хотела, уселась на табуретку. Посидев некоторое время в молчании, она принялась костить мужа: «О чем он только думает, на кафедре освобождается место заведующего, а он в бегах, за аморалку его ему точно не дадут. Старшую дочь надо в аспи-

рантуру устраивать, младшую — в институт. Конечно, предварительная договоренность есть, но это все еще вилами по воде писано...»

«Вот оно, — думала Антонина: — Мне, значит, надо по-честному жить, а им — дочек пристраивать!»

Раздраженная Антонина собралась было уйти из дому, сидеть у соседки, пока полковничиха не уйдет. Но когда горячность прошла, рассудила, что она хозяйка, пусть эта толстая чувствует себя неудобно.

— Послушайте, а к нему ходили? — выведывала полковничиха, так и не удосужившись у Антонины узнать ее имя.

— А как же, — важно врала Антонина.

— А кто ходил, кто? — насторожилась дама.

— Мужики ходили, пили вместе.

— Мужики? Какие мужики, военные?

— Да нет, все плохонькие, ханыги всякие.

— Вот сволочь, все пропивал, нам ничего не давал! А женщины? Ходили?

— Сперва ходила такая полная, но черная, а потом тоже полная, но белая, — Антонина посмотрела на полковничиху. — Лет двадцати пяти, красивая такая...

— Ах, дрянь!

Но раздался звук поворачиваемого ключа, иначе бы полковничиха узнала и о ребеночке, и о сережках золотых, и о перстенечке с красным камушком.

— Вон, встречайте, — бросила она даме.

Из кухни Антонина слышала, что Митрофаньч был слегка удивлен. Они прошли в его комнату, вскоре полковничиха ушла.

— Знаешь, Тоня... — начал нерешительно Митрофаньч.

— Знаю, Василий Митрофаньч. Этот месяц вы не полный живете, а деньги заплатили вперед. Вот вам сдача 43 рубля 50 копеек.

— Ну что ты, Тоня, — добродушно заулыбался Митрофаньч, — мы же свои люди.

— Берите, берите. Не стесняйтесь.

Митрофаньч не застенялся и второй раз упрощать себя не дал, забрал все — и монетки.

Он вдруг стал необычайно раздражать Антонину, ей захотелось поскорее выпроводить его, остаться одной. А Митрофаньч все ходил туда-сюда, аккуратно собирая вещи, стараясь ничего не забыть.

— Тоня, а где мой...

— Не знаю, ищите сами.

Наконец он все собрал, вызвал по телефону такси, а потом все так же бесконечно таскал в машину свое барахло. Когда же он попытался подружески расстаться с Антониной, то она просто молча закрыла за ним дверь, а из-за занавески следила, как отъезжала машина. Перед тем как сесть в такси, Митрофаныч все-таки оглянулся. Он посмотрел на ее пустые окна. И тут Антонина горько и громко разревелась. Ну, никомушеньки она никогда не была нужна: ни Коле, ни Андрюхе, ни Александру Иванычу, дай бог ему здоровья! Вот эта полковничиха чуть только пальцем поманила — мужик к ней и побежал. Значит, давно собирался, и, верно, когда с Антониной жил, все о ней думал. И пусть Антонина из последних сил старается — ее дом никому не нужен!

Однако, хотя она и привязалась к Митрофанычу, не убивалась по нему, как по Коле. Колю она знала с детства, к тому же он Витенькин отец. Митрофаныч же не занял Колиного места в жизни Антонины, он лишь заполнил образовавшуюся вокруг нее пустоту, создал иллюзию семьи. А ушел из дома и никакой вещи после себя не оставил, никакого подарочка, чтобы хоть что-то напоминало о нем, будто и не было человека.

Конечно, с Митрофанычем она связывала свои надежды на обеспеченную в своем понимании жизнь. Но каждому — свое. Мужика у Антонины уже точно не будет, зато есть Витенька.

Никогда еще Антонина не писала так много писем. Она напишет сыну письмо — и как поговорит с ним. Витенька тоже писал матери, правда, не так часто.

К Антонине приезжали из деревни, привозили от матери картошку, сметану, творог, мясо. Им Антонина рассказывала про Витеньку, как служит, читала письма. Так и жила она, торопя время, ожидая сына.

Витенька с удовлетворением узнал о Митрофаныче. У него были подозрения, что тот его специально в армию утек, чтобы с матерью беспрепятственно жить. Но мать писала, что даже рада его отъезду, хоть и заработок потеряла, а то перед соседями неудобно. Таким образом, Митрофаныч в Витенькиных глазах был полностью оправдан.

Первые Витенькины письма были беспредельно тоскливые. Отвечая на них, Антонина

старалась приободрить его, вселить уверенность, она писала ему, чтобы берег себя, что у нее, кроме него, никого в жизни нет. И еще Антонина написала, что гордится им, он теперь герой. А сын, читая это письмо в Афганистане, чуть не плакал от презрения к себе за непреходящий животный ужас перед каждой грядущей минутой, за то, что сам исковеркал, сломал, скомкал свою жизнь. И если бы он только мог повернуть время вспять, ненадолго, всего на полгода, он бы сдал, вызубрил, хоть справа налево, любую галиматью, лишь бы не быть под этим чужим небом, среди гор, замкнувших его каменным кольцом.

\* \* \*

Оля позвонила своей матери, шестидесятилетней грузной женщине, страдающей одышкой, и попросила ее посидеть с детьми. Мама с грустью согласилась. С ее стороны это было почти подвигом. Дело в том, что близнецы были мальчиками. И хотя они прекрасно ходили, предпочитали бегать на четвереньках, враспынную, быстро-быстро. Это про них писал Чуковский: «Тараканы прибежали...» Еще мальчики любили кусаться, у них были новенькие молочные зубки. Но самое ужасное было, когда они затихали одновременно в разных концах квартиры. И вот таких-то ребятисшек Оля привезла своей матери.

Оставив маме пацанов и выйдя на улицу, совсем недалеко от дома она вдруг услышала:

— Оленька, здравствуйте! А я гляжу: вы это или не вы!

Оля оглянулась: перед ней стояла по-старушечьи одетая, крохотная сморщенная женщина и смотрела на нее такими добрыми глазами, что она смутилась.

— Я мама Вити Прохорова, помните?

— Ох, извините, пожалуйста.

— Да что вы, Оленька, где же вам меня помнить! Это я вас всех знаю, фотографии смотрю, альбом школьный. Я здесь рядом живу, пойдете со мной, чаю попьем, Витеньку вспомним.

Она говорила так искренне, так приветливо, что Оля просто не могла выдать ей «нет». Сейчас, когда у нее самой были дети, ей до слез было жалко незнакомую женщину, поте-

рявшую единственного ребенка. К тому же она надеялась, что долго у нее не застрянет. А сына ее в школе она не замечала и едва обмолвилась с ним десятком слов за все десять лет. Его часто дразнили «Витя-титя». На удивление всему классу, он куда-то поступил, но почему-то бросил или его выгнали. Когда самые прыткие из них еще не все выскочили замуж, а самые послушные толком еще не научились краситься, его жизнь уже закончилась. Он попытался, как написали бы в учебнике истории, «закрыть грудью вражескую амбразуру». Но, как оказалось, в том не было особой нужды, потому что прикрыла наша артиллерия.

Антонина, получив в запаянном цинковом гробу ошметок Витенькиного тела, должна была поверить, что это именно и есть ее сын. Оказалось, что существо, жившее в ней все долгие девять месяцев, бултыхавшееся в ее водах, нетерпеливо колотившее ее изнутри, а затем увидевшее свет и превратившееся в весь смысл ее существования, так легко уничтожить. А ведь у Витеньки была и корь, и ветрянка, Антонина не спала, пролила много слез. И где все это теперь?

На похороны Витеньки дружно явился весь класс. Олю немного пугала эта процедура, и она стояла в стороне. Кто-то говорил какие-то высокопарные слова, Оля не прислушивалась к ним, она обратила внимание на жалобный крик чайки. Птицы поблизости нигде не было: кричала Витенькина мать, на вздохе.

На поминки Оля тоже боялась идти: ей запертили родители. Вдруг будет пьянка — публика-то деревенская. Но улизнуть незаметно не удалось, а поминки не получились. Едва Антонина вошла в дом и увидела фотографию сына с черной каемочкой, как ей сделалось плохо, приехала «скорая», забрала ее. За упокой Витеньки выпили в отсутствие Антонины, потом немного посидели, вымыли посуду с верной «бабой Жопой» и разошлись. Было так тоскливо, что Оля с одноклассниками пошла к кому-то на квартиру, мальчишки сбегали в магазин, затарились чем было, потом долго пили, говорили такие красивые слова и были так выворачивающе откровенны, что в последующие дни им было стыдно, тошно — больше они никогда не собирались.

Оле представилось, как живет эта женщина — одиноко, в выстуженном доме. Но квартира оказалась светлая и душная. Не дав раздеться, Антонина потащила Олю за стол, стала пичкать мерзостным месивом из морковки и мелкой с головами рыбешки. И тут Оля поняла, что она так и будет слушать нескончаемые воспоминания, что, видимо, только для этого она привезла к матери своих охламонов. Она молча уставилась на Антонину, а та трясла фотографиями, с упоением рассказывая о Витенькином детстве. Ее губы, перемазанные томатом, ужасно раздражали Олю. Чтобы хоть как-то отвлечься от них, она разглядывала комнату.

— Кто это? — спросила она, указывая на стоящую в серванте среди тяжелых пузатых салатниц и ваз фотографию полной девушки с воловьим взглядом.

— Это Лена, Витенькина девушка. Красивая, правда?

— Да, — пришлось поддакнуть.

— Это она восемь лет назад. Она сейчас тоже красивая, — и Антонина кивнула на фотографию мясистой перезрелой тетки. — Они с Витенькой перед армией поссорились, она его даже провожать не пошла. Потом выяснилось, что беременна, она, глупенькая, никому ничего не сказала и аборт сделала. Вот ведь как получается: и красивая, и работает на виду — она в столовой на раздаче, а замуж не выходит. Я ей говорю: «Выходи, Леночка, замуж. Хоть твоих детишек поняну». А она — мне: «Я и сама хочу, но не получается. Есть у меня мужчины, но, как с Витенькой было, никогда уже больше не будет».

— А вот эту открытку, — Антонина указала на картинку с аляповатыми розами, — мне мой бывший жилец прислал. Он сейчас профессор по политике, в комитетах заседает, за границу ездит. Мы с ним к Витеньке ходили. Витенька рядом с отцом лежит. Я попросила его сфотографировать могилку, — и Антонина протянула Оле фотографию, где стоит рядом с огромным могильным камнем. Так фотографируются с внуками. На эту глыбу с высеченным мужественным Витенькиным профилем и солдатами, сквозь пургу идущими в атаку, Антонина угрохала все свои сбережения, припятанные на черный день.

— Я летом так хочу к матери в деревню поехать, одна она у меня там, да никак: цветочки надо на могилке поливать, а то засохнут. Земля там плохая, уж и свою носила... Я ведь, Оленька, после его гибели в больнице была. Мне тогда показалось, что между мной и Витенькой такая тоненькая стеночка... Но врачи не дали мне ее порушить. А потом стали приходиться Витенькины письма: «Здравствуй, мама! У меня все хорошо», — запоздали они...

Оля не выдержала и порывисто обняла Антонину.

— Уже уходите?

Лучшего момента ждать было невозможно.

— Да, к сожалению.

— Заходите ко мне, Оленька, на могилку сходим. Он же погиб, Оленька, как герой.

На улице Оля увидела одноклассницу. День встреч!

— Ты знаешь, у кого я сейчас была?

— У кого?

— У матери Витьки Прохорова.

— А, ну-ну! Фотографии, письма, дневники с тройками, на кладбище зазывала... Она всех к себе тащит. Оттого, что многие разъехались, нам приходится за вас отдуваться. Я ее как увижу, на другую сторону перехожу или в автобус сажусь.

Олина мама с нескрываемой грустью выслушала, что сегодня дочери ничего не удалось сделать из тех дел, которые намечала. Для нее это означало, что в ближайшем будущем близнецов привезут снова. Мальчики капризничали, на незнакомом месте плохо спали. Близнецы от возбуждения вращали глазами и сосредоточенно наяривали соски.

Оля посадила их в спаренные колясочки и повезла к остановке, уселась на скамейке ждать автобуса. Грустным сегодня выдался день: дела свои не сделала, маму расстроила, детей измотала, повстречала эту женщину, никому не нужную. И хотя ей все сочувствуют, трудно быть до конца искренним с вершины собственного благополучия.

К остановке подошла женщина, немолодая. Как грудного ребенка, она держала куклу-младенца, завернутую в кружевной конверт, баюкала ее и целовала в холодный целлулоидный лобик. От неожиданности Оля вскочила. Женщина с достоинством села.

Самое любопытное, что лет через пятнадцать она со своими пацанами, усатыми, похожими на молодых гусаков, вновь встретила на улице эту же бабу с той же замызанной куклой...

□

### *Елена Робертовна СЧАСТЛИВЦЕВА*

*родилась в Москве,*

*окончила Ленинградский механический институт.*

*Печаталась в сетевых*

*и петербургских литературных журналах.*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

